

## Пролог

«В середине апреля 1944 года, — говорит она, — мы уезжали в Германию».

«Приехали. А то, что было до этого, — Соппротивление, арест, Френ, — в сущности, было только прелюдией». После слова «Германия» в классе воцаряется тишина, это слово предвещает рассказ о смерти. Долгое время она была благодарна этой тишине, которая как бы отодвигала ее историю в сторону, как раз когда нужно было рассказывать о замалчиваемых так долго событиях; она была признательна тому, как все умолкали и замирали и не было ни шепота, ни единого движения в рядах восемнадцатилетних мальчишек и девчонок, словно они знали, что их голоса и столь юные тела могут помешать воспоминаниям. Вначале она нуждалась в перерывах. Но после того, как Сюзанна Ланглуа рассказала об этом пятьдесят, сто раз, фразы стали складываться легко, безболезненно и практически бессознательно.

«Четыре дня спустя, — говорит она, — прибыл конвой».

Слова льются в своем обычном ритме, уверенно, спокойно. За окном она замечает на ветке платана бабочку; она видит, как танцуют пылинки в косых лучах солнца, ласкающих волосы ребят; видит, как трепещет край карты, приклеенной скотчем. Она продолжает рассказывать. С каждой фразой она приближается к безумной истории, истории появления на свет ребенка в концлагере, о комнате грудничков, где выжил ее сын. Такие истории, как у нее, можно сосчитать на пальцах. Именно поэтому она приглашена в лицей — как живое доказательство всеобщей трагедии, а когда она чуть позже произносит слово *Kinderzimmer*, класс сковывает тишина, словно цементирует. И вот, она только что сошла с поезда. Германия, ночь...

«Мы идем в лагерь Равенсбрюк», — говорит она.

Одна девушка поднимает руку. Обычно в этом месте рассказа такого не происходит. Поднятая рука — словно сигнал. У девушки очень бледная кожа, а в правой брови крошечное красное колечко. Поднятая рука сбивает Сюзанну Ланглуа, рассказ наталкивается на руку и раскалывается на части.

Девушка всего лишь спрашивает у Сюзанны Ланглуа, приходилось ли ей слышать о Равенсбрюке до отъезда из Франции. Сюзанна Ланглуа отвечает:

— Я знала о том, что есть лагерь, и это все.

А знала ли она, куда именно в Германии ее везут, когда ехала в поезде?

— Нет.

— Когда же вы поняли, что едете в Равенсбрюк?

Сюзанна Ланглуа немного колеблется, а потом отвечает:

— Не знаю.

В любом случае она не смогла бы *понять*, что ехала в Равенсбрюк, если бы даже знала название, ведь она слышала бы лишь набор звонких и глухих звуки, которые ничего бы ей не сказали.

— Значит, вы не знали, где оказались?

Сюзанна Ланглуа улыбается, замирает, а затем говорит:

— Нет.

Она поправляет шаль. Пытается возобновить рассказ, вспомнить слово, которое должно последовать в этом месте повествования. Тридцать восемнадцатилетних мальчиков и девочек смотрят на нее в ожидании. Это как заноза в ладони. Нечто едва ощутимое, крошечная иголка, которую можно было бы и не заметить, если бы кожа не была столь гладкой и нежной. «Девочка спрашивает меня, когда я узнала о Равенсбрюке. Когда я впервые услышала слово “Равенсбрюк”? Раньше никто не задавал этого вопроса. Эта девочка с бледной кожей и красным колечком в брови рано или поздно должна была появиться». Отведя взгляд от помятой карты, бабочки за окном, луча солнца, Сюзанна начинает искать в глубине сознания образы, она пытается вспомнить дорожный знак на ведущей в лагерь дороге, столб, надпись или произнесенное вслух слово «Равенсбрюк». Но нет никакой надписи, нигде; она не помнит, чтобы кто-то об этом говорил. Лагерь — это безымянное место. На память ей приходят слова поэтессы Шарлотты Дельбо. Вспоминая об Освенциме, Шарлотта говорила, что *этого места на карте нет* и она узнала его название, лишь проведя там два месяца.

— Вы в самом деле, — не унимается девушка, — тогда ни о чем не знали? Вы знали о Равенсбрюке ровно столько, сколько мы сейчас?

После небольшой паузы женщина отвечает:

— Наверное, да.

Сюзанна Ланглуа не может опомниться, они так похожи — эта выпускница и молодая женщина чуть старше нее, какой она стояла у входа в лагерь. Неведение — вот то, что может объединить ее и эту девочку, правда, с дистанцией в шестьдесят лет.

На самом деле только что сказанная фраза «*мы идем в лагерь Равенсбрюк*» невозможна. От вокзала и до места назначения Сюзанна не думала о названии. Сначала они шли по дороге среди высоких елей и красивых домов; название Равенсбрюк появилось позже, когда они преодолели весь этот путь. Более тридцати лет в классах и прочих местах ей нужно было рассказывать все в общем, все, что она знала о лагере, не заботясь о хронологии событий, все, что об этом знали и рассказывали другие узники, в чем признавались на Гамбургском процессе в 1947 году, о чем писалось в исторических работах, — все это необходимо передать потомкам, чтобы бороться против тотального забвения, закрыть брешь уничтоженных архивов и срочно рассказать о тех событиях, тщательно пересмотреть их, исчерпывающе дополнить, пока еще жива, ведь кое-что она, Сюзанна Ланглуа, все-таки забыла. То, что материнство в лагере было особой линией фронта.

Теперь невозможно произносить обычные фразы. Ни *мы идем в лагерь Равенсбрюк*, поскольку неизвестно было его название. Ни *нас отправили на карантин*, поскольку

этот блок исполнял данную функцию лишь в глазах заключенных, которые уже находились в лагере. Ни *в половине четвертого утра я услышала сигнал сирены*, поскольку у нее больше не было часов. Нельзя также сказать *там была комната для грудных детей, Kinderzimmer*. Она не знала о ее существовании, пока не оставила там своего ребенка. Ей стало грустно. В истории, у которой есть конец, уже невозможно найти начало. И даже если в истории есть точные образы и события, она всегда описывает их через призму собственного восприятия.

Сюзанна Ланглуа замолкает. Она возвращается к себе, она придет в другой раз. Или нет? Она пока еще не решила.

О, нужно стать Милой, у которой нет воспоминаний.

## Глава 1

Обессиленная, Мила стоит перед входом в лагерь. По крайней мере, она считает, что высокие стены, которые освещают пересекающиеся там и сям лучи прожекторов, — это и есть вход в лагерь. Она моргает, и словно тысяча иголок впивается в глаза. Вокруг нее в свете факелов вырисовываются четыреста силуэтов женских тел — она точно знает их количество, потому что их пересчитывали в Роменвиле, — шеи, виски, локти, затылки и рты, ключицы. Крики мужчин и женщин, лай собак, челюсти, языки, десны, волосы, сапоги, резиновые дубинки. От вспышек и шума выстрелов Мила не может даже моргнуть, она натянута, как тетива.

После четырех дней, проведенных в вагоне для перевозки скота, где она лежала на досках или стояла на одной ноге, у Милы болит все тело: плечи, спина, бедра. Язык камнем лежит во рту. Однажды она просунула голову в окошко, куда другие женщины справляли нужду, и ловила ртом капли дождя.

Теперь она стоит перед ограждением и крепко сжимает ручку маленького чемодана. В нем вместе с ножницами,

скребком, шилом, а также остатками продуктового пакета, полученного во Френе, одной свечой, одной парой трусов, одной сорочкой и двумя детскими ползунками, которые она связала в тюрьме, лежит фото арестованного в январе брата, ему двадцать два года, и фото отца, где он стоит перед зданием на улице Дагер. Она сжимает ручку чемодана, единственную знакомую ей «территорию» размером сорок на шестьдесят сантиметров, и руку Лизетты. «Хотя она такая же Лизетта, как и я — Мила, но Марией и Сюзанной мы были в другой жизни. Здесь нет имен. Лишь темнота, изрезанная белыми лезвиями прожекторов».

Она узнала, что едет в Германию. Об этом узнали все женщины в Роменвиле. Их не расстреляют, их депортируют, мало кто об этом сожалел, лишь некоторые из них — подумать только, быть расстрелянной, как мужчина, как солдат, враг Рейха, на горе Валерьен<sup>1</sup>. Мила исполнила свой долг, она говорит «свой долг» так естественно и без пафоса, как в автобусе уступают место пожилой даме, в ней нет ни капли желания геройствовать, и, если появится такая возможность, ей, конечно, хочется остаться в живых. Уж лучше Германия, чем пуля в лоб. И это не выбор, не радость, а просто облегчение. Вместе с четырьмястами женщинами она покидает ряды шеренг, выпрямившись под величественным солнцем. Из кузова грузовика — в поезд, вдоль дороги толпятся люди, «Марсельеза», хлеб и цветы, их несут прямо к вагонам, откуда она слышит пение железнодорожников, и немцы

---

<sup>1</sup> Мон-Валерьен — гора, а точнее, холм в Париже. Во время Второй мировой войны, при оккупации, на этой территории нацисты расстреливали участников Сопротивления и заложников. (*Примеч. ред.*)

в ярости разбивают на мелкие куски окна вокзала. Значит, она тогда узнала, что едет в Германию.

Германия — это Гитлер, нацисты, Рейх, а также военнопленные, мобилизованные в ЛПР<sup>1</sup>, политзаключенные. В Германии убивают евреев, больных и стариков — инъекциями или газом, она слышала об этом от Лизетты, от брата, от членов подпольных организаций; существуют также концлагеря. Но она не еврейка, не старая и не больная. Она беременная, и она не знает, имеет ли это какое-либо значение или нет и если да, то какое.

Куда именно они едут в Германии, ей не известно. Она ничего не знает ни о расстоянии, ни о продолжительности поездки. Короткие без пауз остановки, двери открываются и сразу же с железным грохотом закрываются. Резкие блики света, порывы свежего воздуха позволяют мельком увидеть чередование дня и ночи, ночи и дня. Три ночи, четыре дня. И вот, безусловно, они пересекают границу. Это было до или после того, как полный дерьма сортир покатился в уже грязную солому и две женщины бросились в рукопашную? До или после того, как Мила задремала, прислонившись к спине Лизетты, чувствуя, как крошечная матка сжимается в животе? До или после того, как Мила больше не могла закрыть пересохший рот? Или как раз после брошенной бумажки на рельсы? Было бы хорошо, если это произошло после бумажки, так бы остался шанс, что она попадет к адресату. Огрызком карандаша на ней написаны три строчки, адресованные Жану Ланглуа, улица Дагер,

---

<sup>1</sup> ЛПР — лагерь принудительных работ.